



Профессор Малик Соланка, в прошлом специалист по истории идей, а ныне мастер-кукольник, человек вспыльчивый и несдержанный, после пятидесяти пяти по собственному (осуждаемому многими) выбору сделавшийся холостяком и отшельником, в свои “серебряные годы” неожиданно обнаружил, что живет в золотом веке. За окном стояло долгое влажное лето — первое лето третьего тысячелетия, взваренное, потное. Город кипел деньгами. Никогда еще стоимость жилья и арендные ставки не взлетали так высоко, а мода не была столь модной. Новые рестораны открывались каждый час. Магазины, агентства, галереи соревновались за право удовлетворять заоблачные потребности во все более изысканной продукции: оливковое масло экстра-класса, штопоры по триста долларов за штуку, изготовленные на заказ “хаммеры”, новейшие антивирусные программы, акробаты и близнецы для эскорт-услуг, видеоинсталляции, *ар брют* (искусство маргиналов), невесомые шали из пуха бородок вымирающих горных коз. Такое множество людей обустроивало свои жилища, что высококлассное оборудова-

ние для дома пользовалось громадным спросом. Возникали очереди на покупку ванн, дверных ручек, импортной древесины твердых пород, антикварных каминов, биде, мраморных плит и прочего. Несмотря на недавнее падение индекса NASDAQ и цен на акции “Амазона”, новые технологии держали город на крючке; все только и обсуждали что новые интернет-компании, IPO, интерактивность — невообразимое будущее, которое едва брезжило. И будущее это было огромным казино, где все делали ставки и каждый надеялся выиграть.

На улице, где жил профессор Соланка, богатенькая белая молодежь в мешковатых одеждах маялась бездельем на розовых от солнца верандах, стильно имитируя бедность в ожидании миллиардов, которые вскорости непременно получит. Сексуально отстраненный, но по-прежнему оценивающий взгляд профессора невольно задержался на рослой молодой женщине с зелеными глазами и высокими скулами, выдававшими ее европейское происхождение. Колючий ежик рыжеватых волос по-клоунски торчал из-под черной бейсболки с логотипом альбома “Вуду” Д’Анджело, на пухлых губах играла сардоническая улыбка, и она без всякого стеснения хихикала, по-простецки прикрывая рот ладонью, — потешалась над старомодным, щеголеватым маленьким Солли Соланкой, который, в соломенной панамской шляпе, кремовом льняном костюме и с тросточкой в руках, совершал свой ежедневный моцион. Имя Солли приклеилось к нему в колледже. Он никогда его особенно не любил, но так и не сумел от него избавиться.

— Эй, сэр! Сэр, простите! — окликнула его блондинка властным тоном, требующим ответа.

Юнцы-сатрапы из ее свиты насторожились, как преторианская гвардия. Она нарушала правила жизни в большом городе, ничего не боясь, полностью уверенная в своих правах,

своей власти и своих стражах. Всего лишь бесцеремонность хорошенькой девицы, ничего особенного.

Чуть помедлив, профессор Соланка повернулся к скучающей у порога богине. Она же как ни в чем не бывало продолжила:

— Вы много гуляете. Выходите из дома раз пять-шесть на день. Я то и дело замечаю, как вы куда-то идете. Сижу здесь и вижу, как вы то уходите, то приходите. Но у вас нет собаки, и не похоже, чтобы вы водили подружек или отправлялись в магазин. На работу в такое странное время не ходят. Вот я и спрашиваю себя: что это он все ходит туда-сюда один? Вы, наверное, слышали — какой-то парень бродит по городу и бьет женщин по голове куском бетона. Нет, если бы я думала, что вы извращенец, то не стала бы с вами разговаривать. И этот ваш британский акцент — в нем что-то есть, правда? Несколько раз мы даже увязывались за вами, но вы просто бродили без цели, шли куда глаза глядят. Мне показалось, будто вы что-то ищете. Вот я и решила выяснить, что бы это могло быть. Просто по-дружески, по-соседски. Вы загадка. Для меня уж точно.

В нем поднялась волна внезапного гнева.

— Я ищу только одного, — рявкнул он. — Покоя!

Его голос дрожал от негодования, гораздо более сильного, чем заслуживала ее навязчивость, негодования, повергавшего его в шок всякий раз, когда оно потопом пронесилось через нервную систему.

Эта неожиданная агрессивность заставила девицу отпрянуть и замкнуться в молчании.

— Мужик, — проговорил самый крупный и бдительный из “преторианцев”, центурион с обесцвеченной перекистью шевелюрой, без сомнения ее любовник, — не слишком ли ты задирист для того, кто ищет покоя?

Девушка кого-то напоминала профессору, но вот кого? Он никак не мог вспомнить, и этот небольшой сбой памяти,

проявление возраста, приводил его в бешенство. К счастью, блондинки уже не было — никого не было, — когда он возвращался с карибского карнавала, в мокрой панаме, весь промокший до нитки после того, как его застиг врасплах теплый ливень. Когда он пробежал под дождем мимо синагоги “Шеарит Исраэль” на Сентрал-Парк-Уэст (“белого кита” с треугольным фронтоном над четырьмя — или сколько их там? — коринфскими колоннами), ему запомнилась тринадцатилетняя девочка, едва отметившая совершеннолетие, свою *бат-мицву*. Профессор увидел ее через боковую дверь: она стояла с ножом в руке, ожидая церемонии освящения хлебов. Ни одна религия не знает обряда измерения благодати, подумал Соланка, а ведь, казалось бы, хотя бы англикане вполне могли изобрести что-нибудь в этом духе. Лицо той девочки светилось в сгущавшемся мраке, и в юных округлых его чертах читалась уверенность, что сбылись самые высокие ожидания. Благословенная пора, если вы не гнушаетесь слов вроде “благословенный”, которых скептик Соланка всегда избегал.

По соседству, на Амстердам-авеню, развернулась летняя праздничная тусовка квартала, уличная ярмарка, успеху которой не помешал даже ливень. Как подозревал профессор Соланка, сваленные здесь в кучи уцененные товары могли бы занять достойное место на полках и в витринах самых изысканных бутиков и дорогих универмагов на большей части планеты. В Индии, Китае, Африке, Южной Америке — проще говоря, в наиболее обделенных благами широтах — люди, имеющие время и деньги следовать моде, убили бы за товары с уличных развалов Манхэттена, равно как за поношенные наряды и хлипкую мебель из грандиозных магазинов эконом-класса, бракованный фарфор и уцененную одежду с дизайнерскими бирками, которые можно отыскать в дисконт-центрах деловой части города. Таким легкомысленно-обыденным отношением к изобилию, к этому незаслуженному

богатству Америка оскорбляет всех прочих на планете, думал профессор Соланка в свойственной ему старомодной манере. Но сейчас, в эпоху изобилия, Нью-Йорк сделался объектом страстного вожделения всего мира, и это оскорбление только еще сильнее распяляет желания остальных. По Сентрал-Парк-Уэст разъезжали конные экипажи, и колокольчики на лошадиной сбруе звенели, как монетки в руке.

Киношный хит сезона живописал упадок Римской империи, которой правил цезарь в исполнении Хоакина Феникса. Честь и достоинство, не говоря уже о смертельных расправах, были здесь ограничены пределами огромной гладиаторской арены — амфитеатра Флавиев, или Колизея, воссозданного на компьютере. У ньюйоркцев тоже были свои цирки, свои зрелища и свой хлеб: мюзиклы о симпатичных львах; гонки на мотоциклах по Пятой авеню; Брюс, поющий в “Мэдисонсквер-гарден” о сорока и одной полицейских пулях, унесших жизнь безвинного Амаду Диалло; полицейские, бойкотирующие этот концерт “Босса” Спрингстина; Хиллари *vs.*¹ Руди Джулиани; похороны кардинала; кино про симпатичных динозавров; автомобильные кортежи двух в целом взаимозаменяемых и одинаково несимпатичных кандидатов в президенты (Гуш, Бор); Хиллари *vs.* Рик Лацио; гроза во время концерта Спрингстина на стадионе Ши; инаугурация кардинала; мультфильм о симпатичных британских цыплятах; литературный фестиваль плюс целая серия шумных шествий, отмечающих этническое, национальное и сексуальное многообразие города и заканчивающихся (иногда) поножовщиной и нападениями (обычно) на женщин. Профессор Соланка, который почитал себя прирожденным поборником равноправия, исконным горожанином, возвращенным в убеждении, что деревня хороша только для коров, в дни пара-

¹ Против (*лат.*).

дов вышагивал щека к щеке (потной) с согражданами. В одно воскресенье он смыкал ряды с узкобедрыми, гордящимися своей нетрадиционной ориентацией геями, в следующее — отплясывал с толстозадой пуэртоториканкой, обернувшей голую грудь национальным флагом. У него не было ощущения, будто толпа вторгается в его личное пространство, совсем наоборот. В толпе, защищенный от вторжений, он обретал желанную анонимность. Здесь никого не интересовали его заморочки. Каждый приходил сюда забыть, кто он есть. Таково было несвязное волшебство людской массы; и в те дни единственная цель жизни профессора Соланки заключалась в том, чтобы уйти от себя. В тот самый дождливый уик-энд воздух наполнился ритмами калипсо, и не просто какими-то там “Прощай, Ямайка” Гарри Белафонте или песнями-дразнилками времен юности Соланки, теплые воспоминания о которых вызывали у него теперь чувство неловкости (“Скажу тебе прямо: я осёл. Не пытайся меня привязать, потому что я осёл, я буду брыкаться и орать, я осёл, не пытайся меня привязать”), а сатирами настоящих оппозиционеров-трубадуров с Ямайки, музыкой групп “Банана бёрд”, “Кул раннингс” и “Йеллоубелли”, долетавшей из Брайант-парка, где она звучала вживую, и лившейся из вознесенных на высоту плеча бумбоксов повсюду на Бродвее.

И все же, когда профессор Соланка возвратился домой с карнавала, им завладела меланхолия, привычная тайная грусть, которую он сублимировал в общественную сферу. Что-то было не так с этим миром. Оптимистическая философия его юности “мир есть любовь” покинула профессора, и он не знал, как примириться со все более фальшивой (другое идеально подходящее сюда слово — “виртуальный” — было ему глубоко отвратительно) реальностью. Его преследовали вопросы власти. Что творят втихую правители города, пока разгоряченные горожане вкушают лотос во всем его разно-

образии? Не всякие там Джулиани и Сэйфиры, которые остаются оскорбительно равнодушными к жалобам изнасилованных женщин, пока в вечерних новостях не покажут снятую случайным прохожим сцену надругательства. Не эти топорно сработанные марионетки, а те, что на самом верху, пытающиеся утолить свои ненасытные желания, алчущие новизны, пожирающие красоту и всегда, всегда жаждущие большего. Уклоняющиеся от схватки, но реально существующие короли мира (безбожник Малик Соланка отказывал этим людям-фантомам в вездесущности). Вздорные, несущие смерть цезари. Как выразился бы его друг Райнхарт, Болингброки с холодной душой. Трибуны, диктующие свою волю современным Кориоланам, *Кориоланусам*, а говоря по-простому, способные взять всех этих мэров и полицейских комиссаров за задницу... Профессор Соланка поехал. Он достаточно изучил себя, чтобы сознавать, что и сам отмечен клеймом вульгарности, и все же был шокирован, когда на ум ему пришел этот грубый каламбур.

Кукловоды заставляют нас брыкаться и орать по-ослиному, переживал Малик Соланка. Кто же дергает за веревочки, когда мы, марионетки, отплясываем под их дудку?

Между тем телефон заливался, когда он вошел в квартиру, все еще роняя дождевые капли с полей панамы. Он схватил с базы трубку и прокричал с раздражением: “Да! Слушаю! В чем дело?” Голос жены достиг его уха, пройдя через кабель, проложенный по атлантическому дну — или, быть может, уже через спутник высоко над океаном? Теперь, когда все меняется, и не скажешь наверняка. Теперь, когда век импульсного набора сменился веком тонового; когда эпоха аналога (она же эпоха языкового богатства, аналогий) уступила место цифровой эре, знаменуя окончательную победу цифры над словом. Он всегда любил ее голос. Пятнадцать лет назад в Лондоне он позвонил в издательство своему другу Моргену Францу,

но того не оказалось на месте, и проходившая мимо Эленор Мастерс сняла надрывавшуюся трубку. Они не были знакомы, но закончили разговаривать только через час. Спустя неделю они ужинали у нее дома, и ни один из них даже не заикнулся о том, что подобный выбор места встречи для первого свидания нарушает все нормы приличий. И были правы, что подтвердили полтора десятка прожитых вместе лет. Итак, он влюбился в ее голос раньше, чем в нее саму. Прежде им нравилось вспоминать эту историю, но теперь, когда они пожинали горькие плоды своей любви, когда воспоминания оборачивались болью, когда им не осталось ничего, кроме голоса в телефонной трубке, их повесть, конечно, стала самой печальной на свете. Профессор Соланка вслушивался в звуки голоса Эленор и с долей отвращения представлял себе, как этот голос дробят на маленькие частички оцифрованной информации, как ее низкое, красивое контральто сначала пожирает, а потом выплевывает главный компьютер, расположенный где-нибудь в районе станции Хайдарабат-Деккан. Как выглядит цифровой эквивалент привлекательности, думал он, какими цифрами кодируется красота? Что за набор чисел вбирает ее в себя, трансформирует, пересылает, раскодирует, умудряясь при этом сохранить, не разрушить самую ее суть? Красота, этот призрак, это сокровище, минует все новомодные машины без ущерба для себя не благодаря технологиям, но вопреки им.

— Малик! *Солли!* (Это для того, чтобы позлить.) Ты меня не слушаешь. Ты весь ушел в себя, в одну из этих своих фантазий, и тот простой факт, что твой сын болен, даже не отложился у тебя в голове. Тот простой факт, что каждое утро, просыпаясь, я слышу — и это невыносимо, — как он спрашивает, почему папы нет дома. Не говоря уже о самом элементарном. О том, что ты ушел от нас без какой-либо причины, без тени намека на разумное объяснение. Ушел, улетел за океан, пре-

дал всех, кто нуждается в тебе, кто любит тебя больше жизни. До сих пор, черт тебя подери, любит, несмотря ни на что!

Это был просто кашель, никакой угрозы для жизни мальчика, но она права: профессор Соланка ушел в себя. И в этом коротком телефонном разговоре. И во всей их жизни, когда-то общей, а теперь раздельной, в браке, считавшемся нерушимым, лучшем союзе, по мнению их друзей. И в родительстве, в отношениях с Асманом Соланкой, до невозможности хорошеньким, славным трехлетним мальчуганом, золотоволосым, на удивление, чадом темноволосых родителей, которые нарекли его небесным именем (Асман, сущ., м. р., *букв.* небо; *перен.* рай), поскольку он и был для них обоих тем единственным небом, единственным раем, в который они могли искренне и безоговорочно верить.

Профессор Соланка извинился перед женой за свою рассеянность, а она уже рыдала. Эти громкие, трубные всхлипы отдавались болью в сердце, ведь его ни в коем случае нельзя было назвать бессердечным. Он молча ждал, когда она успокоится. А после заговорил самым вкрадчивым тоном, лишая себя — и ее — права на выражение эмоций.

— Я понимаю, что для тебя мой поступок необъясним. Помнишь, ты сама меня учила, какую роль играет необъяснимое, — в этом месте она повесила трубку, но он все же закончил фразу: — у... у Шекспира?

Эти сказанные в пустоту последние слова запустили механизм его памяти. Он вновь увидел жену обнаженной. Пятнадцать лет назад длинноволосая двадцатипятилетняя Эленор Мастерс, во всей своей нагой красе, лежала, пристроив голову у него на коленях, а низ ее живота фиговым листком прикрывал растрепанный томик полного собрания сочинений великого классика в синем кожаном переплете. Таким было неприличное, но стремительно сладкое завершение их первого ужина. Он принес с собою вино, три бутылки до-

рогущего “тиньянелло антинори” (целых три, что явно свидетельствовало об отчаянных намерениях соблазнителя), а она запекла для него ароматную, приправленную тмином ногу ягненка и подала ее со свежим цветочным салатом. На ней было маленькое черное платье, и она, босая, легко и неслышно перемещалась по квартире, которая носила явный отпечаток модного в прошлом веке стиля блумсберийской богемы. Эленор с гордостью продемонстрировала ему попугая, который умел подражать ее смеху — слишком звучному и глубокому для такой хрупкой женщины. Их первое и последнее свидание вслепую. Оказалось, что вся она под стать своему голосу: не просто красивая, а еще и умная, уверенная в себе, но ранимая, к тому же умеющая отлично готовить. Отведав настурции и выпив изрядное количество тосканского красного, она начала излагать содержание своей докторской диссертации (к этому моменту они уже сидели на полу в гостиной, на ковре ручной работы от Крессиды Белл), но рассказ ее был прерван поцелуем, потому что профессор Соланка безропотно, как жертвенный агнец, возлег на алтарь любви. Все последующие, долгие и добрые, годы они будут спорить, кто же первым сделал шаг навстречу: она станет яростно, но с лукавым блеском в глазах отрицать, что могла вести себя столь вызывающе, а он — прекрасно зная, как все было на самом деле, — настаивать, что это она первая “набросилась на него”.

— Так ты меня слушаешь? — проговорила она.

— Да, — кивнул он, поглаживая маленькую, идеальной лепки грудь. Она прикрыла его руку своей и пустилась в объяснения. По ее предположению, в сердце каждой великой трагедии лежат неразрешимые вопросы о природе любви, и, чтобы понять пьесу, мы должны дать им свое объяснение. Почему Гамлет, любя покойного отца, тянет с отмщением, почему рушит жизнь влюбленной в него Офелии? Почему Лир, ко-